

А.А. Попов

## О ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГЕРОЯХ И МНИМЫХ

Июнь 1941 года, пригожий жаркий день. Проходя мимо базара, я увидел большую толпу около громкоговорителя. Поинтересовался и я, подошел поближе. Передавалась речь Молотова о войне с Германией. Я скорее побежал домой и рассказал жене. И она, и я, как все население города, были полны патриотизма. Присоединение Латвии, Эстонии и Литвы, как нам внушали, делало наше государство неприступным, а финнов, как говорили, мы «шапками закидаем». Увы, мы и не представляли сколько придется вытерпеть из-за этой проклятой финской войны, и не предполагали, что и в объявленной войне многим из нас не придется дожить до Победы. Если бы нам кто-нибудь тогда сказал, что фашисты подойдут к Ленинграду, его бы сочли предателем.

Увы, наша подготовка к войне оказалась совершенно неудовлетворительной. Приходится удивляться, как только мы победили фашистов. Хаос, неорганизованность царили во всем. А ведь было ясно, что немцы рано или поздно нападут на нас...

Как я помню, день 22 июня был воскресный. Мы позвонили в Институт, там была уже вся дирекция, собирались сотрудники. Мы тоже отправились туда...

В первые же дни войны на меня возложили обязанности заведующего музейными фондами, так как прежний заведующий И.Я. Треногов был призван в армию. Шли слухи об эвакуации Музея. Началась большая и очень сложная работа — надо было все ценное из коллекций уложить в ящики (которые пришлось изготавливать в максимально



*Андрей Александрович Попов,  
заведующий Сектором Сибири,  
кандидат исторических наук.  
Во время блокады принимал  
самое активное участие  
в охране здания Кунсткамеры  
и ее бесценных коллекций.*

короткий срок), спешно запаковать сотни тысяч предметов. И мы все, не покладая рук, трудились днем и ночью. Надо сказать, к чести нашего коллектива, все трудились самоотверженно, и ради спасения тех ценностей, которые доверила им наука, не жалели ни сил, ни здоровья, ни жизни, что и произошло впоследствии. Правда, были среди нас и паникеры, но их, к счастью, оказалось всего трое, и среди них старый партийный работник с дореволюционным стажем, имевший в прошлом, как говорили, большие заслуги. Она металась, как угорелая, по Музею, всюду шептала, что немцы войдут в Ленинград, армия их не удержит. И при первой же возможности покинула Институт, эвакуировалась в тыл, чтобы после войны вернуться обратно, занять свое прежнее место и пользоваться уважением, каким пользовалась до войны. Мы же тогда смотрели на таких людей, как на дезертиров.

Вскоре начались изнурительные работы, связанные с обороной Музея. В них принимали участие все, не исключая больных. Мы красили суперфосфатом стропила крыши, таскали по этажам песок, воду, инструменты. Руководил работами весьма бестолковый товарищ. Бывало, заставлял нас носить ведрами песок на третий этаж или на чердак, а на другой день этот же песок надо было переносить в другое место. Мы ворчали по этому поводу, но никому не приходило в голову протестовать, знали, что, в конечном счете, все делалось в общих интересах и прежде всего для сохранения всем нам дорогих ценностей. Удивляло другое. Многие учреждения эвакуировались. Какой-нибудь второстепенный театр не только вывозил сотрудников, но и занимал вагоны малоценной бутафорией. А о мировых ценностях нашего Музея никто вроде как и не думал.

Из руководства Академии наук мало кто остался в городе. Почти все академики и члены-корреспонденты в первые же месяцы войны покинули Ленинград. Осталось несколько человек, в том числе И.А. Орбели, И.Ю. Крачковский и А.И. Тюменев. Особо хочу сказать о С.А. Жебелеве. Не в пример многим, он был настолько скромнен, что вместе со всеми нами стоял в очереди за дрожжевым супом — единственным блюдом без карточек, которым обеспечивала нас столовая. Этот мужественный человек стал, к сожалению, одной из первых жертв голода. Некоторые академики, как И.А. Орбели, И.И. Мещанинов и другие, не хотели покидать Ленинград, но их заставили выехать из города.

Я совсем не хочу сказать, что академики и члены-корреспонденты должны были умирать в Ленинграде. Очень хорошо, что их спасли. Но нас, попавших в тиски блокады, удручало, что многие из них не проявили ни малейшей заботы об оставшихся в осажденном городе. А

когда в самый тяжелый период некоторые из сотрудников Академии обратились в Василеостровский райком партии за помощью, один из руководителей ответил: «Мы всех крупных научных работников вывезли, остались, очевидно, малоценные, пусть выкарабкиваются сами». Я не пытался узнать имя этого прохвоста. Бог с ним. Вина не его, а тех, кто в этот тяжелый момент доверил судьбу людей таким вот «руководителям». Вероятно, он здравствует и теперь и как житель осажденного Ленинграда занимает какой-нибудь руководящий пост, имеет награды.

С первых же дней войны начались круглосуточные дежурства в Музее. Жили мы еще на квартирах и приходили дежурить из дома. Меня с женой устроили так, что когда я дежурю, она дома, когда она дежурит, — я дома. Мы почти перестали встречаться. Естественно, нам хотелось свободное от дежурств и других обязанностей время проводить вместе. И я, по простоте душевной, пошел к директору (директором в то время был И.Н. Винников. — *Ред.*) просить назначить нас обоих дежурить в одно и то же время. Однако директор сердито бросил в ответ: «Недопустимо в военное время разводить семейственность». О, если бы он руководствовался этим правилом в отношении самого себя!

Но мы недолго переживали отказ директора. Вскоре всех мужчин перевели на казарменное положение, и мы должны были днем и ночью безотлучно находиться в Музее. Женщины дежурили через день. Вообще в организации внутреннего распорядка жизнедеятельности Института царили суматоха и бестолковщина. Дирекция больше всего стремилась произвести хорошее впечатление на руководящих работников разных вышестоящих инстанций. Чего только стоила игра в так называемый «патриотизм». Были выделены два «вербовщика» из числа сотрудников Института, которые буквально по пятам ходили за нашими мужчинами, всеми без исключения, уговаривая их идти в добровольцы. Их прельщали званием, пайком, обещанием устроить в военизированную охрану Музея и т.д. Зная, от кого исходят такие медоточивые речи, многие воспринимали их с недоверием. Это была не трусость. Уж не говоря о том, что мы не подходили по возрасту или по каким-то другим причинам, из-за чего нас не призвал военкомат, мы осознавали, что здесь мы нужнее, без нас музейные ценности мирового значения сберечь будет трудно.

Все, не записавшиеся в добровольцы, вынуждены были предстать перед директором. Разговор сопровождался криком и топанием ногами: «Я хочу, чтобы вы записались в добровольцы, вы — дезертиры. Стоит мне только позвонить в военкомат, — и вас всех заберут...». На это я

ему возразил: «Исаак Натанович! Вы на себя такую смелость берете, разве военкомат вам подчиняется? Кроме того, как и на фронте, мы каждый день рискуем своей жизнью, не прячась ни по каким углам».

«Вербовщикам» удалось записать троих сотрудников: один был сердечник, другой имел многолетнюю язву желудка, третий — хромой. Конечно, в военкомате их сразу же забраковали, и они вернулись. Зато наши руководители, вволю наигравшись в «патриотизм», добились того, что в «верхах» стали числиться хорошими организаторами в военное время.

Оставшимся в Музее мужчинам выдали две винтовки и два (?) патрона «на случай прихода немцев» (очевидно, для «защиты» или чтобы «отражать нападение»). Велено было нам собираться по утрам и изучать эти винтовки. Однажды к нам зашел какой-то инструктор (чтобы обучать нас), осмотрел винтовки и изрек: «Да, это неплохие ружья, но когда вы будете стрелять, держите лицо подальше, у них может быть сильная обратная отдача». Мучительно было видеть в такой серьезный момент нашу российскую бестолковость, эту нелепую игру «в оборону».

Худо ли, бедно ли, но к осени мы закончили свертывание экспозиций, составление описей, упаковку коллекций в ящики. Вопрос об эвакуации коллекций был уже снят — враг железным кольцом окружил город. Ящики с коллекциями стояли в залах и кабинетах. Оставлять их там стало опасно из-за участвовавших бомбежек. Я пошел к нашему директору и в присутствии парторга (секретарем парторганизации был С.А. Абрамзон. — *Ред.*) потребовал распорядиться дальнейшей судьбой ценнейших коллекций, хотя бы снести ящики в подвалы нашего здания. Это справедливое требование вызвало шквал возмущений. Вот дословно его слова: «Наплевать на все коллекции, лишь бы самим остаться в живых». Тут я не выдержал и взорвался: «А я придерживаюсь другого мнения, если мы умрем — это полбеды, а если погибнут коллекции — это уже трагедия». Парторг промолчал...

Не добившись ничего, я стал советоваться со своей дорогой Марусенькой, что же делать дальше в таком положении. И вот вместе с Евгенией Эдуардовной Бломквист, в тайне от нашего руководства, они отправились к И.А. Орбели просить помощи. И.А. Орбели в то время был руководителем Ленинградской части Академии наук. И к нему кто-то из наших сотрудников уже обращался с такой же просьбой. Буквально на другой день наша дирекция получила приказание — наиболее ценные коллекции передать на хранение в Эрмитаж (и они были укрыты в подвалах Эрмитажа), остальные перебазировать в подвалы

нашего Музея. Директор вынужден был выполнить это распоряжение. О, если бы он знал, от кого исходила инициатива!

Еще с лета наших сотрудников стали посылать на оборонные работы — рытье окопов на подступах к Ленинграду. Мы думали, будем делать полезное дело, поэтому энтузиазм вначале был большой. Но, как выяснилось впоследствии, те, кто возглавлял мобилизацию, руководствовались не здравым смыслом, а желанием «перещеголять» соседний район в количестве мобилизованных на эти работы. Так, всякие прекрасные порывы можно было испортить полностью. Бывало, мы только мешали, оказывая «медвежью услугу» нашим воинским частям. Я ездил два раза на такие работы. Помню, первый раз пробирались мы целый день по лесу, никто не знал, кто нас послал и где использовать. Ничего не добившись, таким же путем пробирались обратно.

Другой раз нас послали под Лугу. Ехали мы туда с военным инструктором, но и он ничего не знал. Подня потеряли на то, чтобы найти хоть кого-то, кто указал бы нам, куда идти дальше и что делать. Все от нас отмахивались, всем мы мешали. Наконец, нам выделили красноармейца, и он повел нас. Целые сутки мы блуждали по лесу. Страшно устали. Наконец, вышли на какую-то опушку и решили расположиться на ночлег. В изнеможении попадали на землю, как вдруг из леса вышел какой-то командир и с ходу стал кричать на нас: «Кто такие, откуда, кто вас послал?». Узнав, в чем дело, раскалился еще больше: «Почему нас не предупредили заранее, мы с этой стороны ожидаем немцев! Ваше счастье, что не вошли в лес, мы бы по ошибке вас обстреляли!».

Не помню уж, какими путями мы добрались до места. Рыли противотанковые рвы. Никто нас не охранял, хотя немецкие самолеты по нескольку раз в день пролетали над нами. Летали они очень низко, но не бомбили, хотя другие наши товарищи, ездившие под Псков и в Радофинниково, неоднократно подвергались и бомбежкам, и обстрелам, так что им пришлось бежать оттуда. Потом мы узнали причину, почему нас пощадил. Оказывается, мы делали для них полезное дело. Эти рвы пригодились потом немцам...

Между тем фашисты все ближе подступали к городу. Положение с продовольствием обострилось до крайности. И в то же время нам запрещалось привозить картофель или овощи из пригородов, где мы находились на оборонных работах. Тех, кто привозил с собой мешок картошки или овощей, привлекали к ответу. Так что весь урожай достался немцам. Наши «мудрые» руководители не догадались мобилизовать население города на уборку урожая, хотя положение с продоволь-

ствием было весьма критическим, его еще можно было бы как-то поправить за счет собранных овощей и зерновых. Безобразие творилось повсюду. Взрывали или поджигали продовольственные склады, овощехранилища и т.п. А город в это время голодал. Скучные запасы продовольствия были в основном сосредоточены в одном месте — на Бадаевских складах, но они сгорели...

Жизнь наша становилась все хуже и хуже. Бесперывные налеты изматывали силы. Однажды рано утром развели мосты на Неве и целый день по направлению к Ладожскому озеру проходили военные суда. Мы посчитали, что наши защитники покидают нас. Наблюдать это было больно.

По врагу теперь стреляли зенитки. Нам казалось, что от них мало толку, так как сбитых самолетов было немного, хотя грохот от зениток стоял невероятный. Немецкие самолеты, видимо, мало обращали на них внимания, фашисты с методичной пунктуальностью посылали нам сверху сотни зажигательных снарядов и фугасок. Из некоторых домов во время налетов вылетали пакеты ракет — это орудовали немецкие шпионы, указывая цель самолетам...

Вскоре после моего перебазирования на казарменное положение, в Институт переехала и Маруся. Правда, поселилась она в другом месте — в подвале, выходившем окнами на набережную. Там уже обосновались Л.Э. Каруновская, Л.Б. Панек, С.А. Штернберг, И.Н. Винников с семьей, В.В. Антропова, Е.В. Жиров, Г.И. Смирнов, В.В. Федоров, А.Н. Юзефович и другие.

Подвалы, предназначенные под бомбоубежища, обустроивали мы сами. Помню, приглашенный архитектор указал наиболее «безопасные» места. Таковыми оказались подвалы направо от входа со стороны Таможенного переулка — под вестибюлем и гардеробом. Было оборудовано еще одно бомбоубежище, куда вход вел со стороны набережной. Сюда мог заходить любой прохожий, застигнутый воздушной тревогой. Нам же бомбоубежища практически были не нужны. Как только объявляли сигнал воздушной тревоги, все бежали, не исключая слабых и больных, на свои посты в здании Музея, на чердак или на крышу. А наш директор и я же с ним бежали в бомбоубежище. Бомбоубежище это было обставлено хорошей мебелью, взятой из кабинетов, были даже ковры. Входить в этот «бункер» разрешалось только избранным.

Мы обжили подвалы, когда переселились сюда из квартир. Как-то из своего угла, где находилась моя постель, я, выглянув в окно, неожиданно увидел фашистский самолет. Сброшенная им фугаска упала на набережную. Осколки, влетевшие через окно подвала, врезались в сте-

ну над моей койкой. Если бы я оставался на своем месте — меня бы не было в живых. Я переживал только сам факт — если мне суждено умереть, то почему не рядом с Марусей. Маруся же в это время ковыляла на боевой пост. Особенно тяжело ей давались лестницы. Она задыхалась, ноги отказывались идти. Наблюдая такую картину, Е.В. Жиров не вытерпел: «На кой черт женщин посылают на чердак, разве не видно, что среди них есть больные!». Да, кому следовало видеть — не видели, а кто видел — сделать ничего не мог, хотя внимательно и чутко воспринимал чужие беды. Марусенька же переносила все тяготы со свойственным ей героизмом.

В подвале была установлена плита, на которой мы варили нашу скудную еду. Дрова добывали сами, в основном на дрова разбирались деревянные дома и постройки, их грузили на санки и везли в Институт. Проблема заключалась в другом — что варить на этой плите. Многие хозяйственные люди сразу же после объявления войны начали закупать продукты. Нам, как и большинству сотрудников, это казалось преступлением. В голову не приходило, что придется умирать с голоду. Да нам и не на что было делать закупки, денежных накоплений мы не имели, кроме того считали недопустимым думать о себе в такое тяжелое время.

Отвратительно мерзко стали проявляться хищнические инстинкты у некоторых сотрудников. По нашим понятиям, они катались, как сыр в масле, в то время как мы ломали голову, где раздобыть себе что-либо съестное. Я хорошо помню, как жена директора по административно-хозяйственной части, хотя плакалась, что им голодно, варила целыми котлами картошку и пекла толстые лепешки на масле. А рядом бедная Марусенька варила похлебку из морской капусты или какой-либо другой дряни, которая с трудом шла в горло. Наш директор с семьей питался по тем меркам тоже хорошо, но имел обыкновение интересоваться, чем питаются его сотрудники, заглядывая в кастрюли, стоявшие на плите, и делая, по его мнению, весьма «остроумные» замечания по поводу нашей еды, за которые хотелось дать ему хорошую оплеуху. Так, однажды, заглянув в нашу кастрюлю, он изрек: «У Марии Васильевны весьма утонченный вкус, она варит себе кашу из морской капусты». Какая низость! Я помню, сколько слез после этого его замечания пролила моя милая Маруся. Да мы бы с удовольствием ели продукты, подходящие к его «высокопоставленным друзьям».

Первой жертвой блокады стала Н.П. Дырленкова. Правда, умерла она не от голода, а от воспаления легких. Дежурила на крыше, простуди-

лась, долго болела. Смерть наступила во время сердечного приступа. Случилось это в октябре 1941 года. Умерла она на руках у своего учителя Л.Я. Штернберга. Мы сумели ее похоронить на Волковском кладбище по всем правилам, по-человечески. К сожалению, про остальные жертвы этого сказать нельзя. А сколько их было еще впереди...

В страшные январские дни 1942 года смерть косила наших товарищей почти каждый день. На живых было страшно смотреть — не люди, а тени какие-то. Не хватало сил даже на то, чтобы вывезти трупы на саночках на Пушкинскую площадь, откуда их забирали специальные машины. Трупы складывали в отдельное помещение в здании самого Музея...

А наш директор попал в категорию «ценных научных работников». Хотя он и напускал на себя «значимый» вид, мы-то знали, как усиленно он хлопотал о выезде из Ленинграда. И добился своего. Укатил по Дороге жизни, когда состоялся первый массовый выезд сотрудников Академии наук из осажденного Ленинграда.

Накануне отъезда у меня был разговор с ним с глазу на глаз. «Андрей Александрович, — сказал он, — я считаю, что вы более чем кто-либо можете меня заменить. Я хочу оставить вас вместо себя. Вероятно, скоро придется сокращать сотрудников, и вам надо взять это на себя. Оставьте в институте 2—3 человека». Я взорвался: «Сокращения проводить не буду, так как считаю несправедливым выкидывать людей за борт, обрекая их на верную голодную смерть». На этом наш разговор и окончился. А в итоге — директором был оставлен С.М. Абрамзон.

Я далек от осуждения тех сотрудников, которые, бросив все, эвакуировались из Ленинграда. Плохо то, что многие из них начисто позабыли о наших страданиях и никак не поддерживали нас...

Раздобывать еду становилось все труднее и труднее. Дорогая моя, бедная Марусенька! Для тебя наступили самые страшные дни. Кто бы мог подумать, что в тебе, слабой и больной, было столько героизма и самоотверженности. Ты одна заботилась о пище: стояла в очередях за хлебом (125 г на человека, других продуктов не было). Ходила то к спекулянтам, то на базар покупать или обменивать кое-какие наши вещички на жмыхи или морскую капусту. Помню, однажды ее обманули на базаре. Вместо дуранды она принесла домой мелкие опилки. Но самый страшный случай произошел, когда она ходила менять вещи к знакомым, которые жили на окраине города. Не знаю, что ей удалось выменять, но до дома она ничего не донесла. Продолав пешком такой длинный путь, на Дворцовом мосту она попала под жестокий обстрел. Чудом спаслась, подробностей не помнила, очевидно, потеряла

сознание. Но когда пришла в себя — видит, лежит в луже крови среди убитых людей. Надо было пережить весь этот кошмар...

Я ничем не мог помочь Марусе. Сперва я еще как-то крепился. С дико распухшими ногами, едва передвигаясь, продолжал исполнять свои обязанности по Музею. Ходил даже в университет, где в нетопленных аудиториях меня ждала маленькая группа студентов, оставшихся при кафедре. Из преподавателей нас было только двое. Но в конце января 1942 года я слег, весь распухший и отекающий, и подняться уже не смог. Мой последний «выход» состоялся в начале января в военкомат, куда я должен был явиться на переучет. Военкомат находился недалеко от нашей квартиры на улице Петра Лаврова. Трамваи не ходили, и мне пришлось от Музея почти два часа добираться до места. Как дошел — не помню. Еще оказалось, что в военкомате полно народу, сесть некуда. Но у меня был такой вид, что место мне уступили сразу. Ждать пришлось долго; когда освободился, понял, что обратно в Музей не дойду. Добрел кое-как до своей квартиры, сел на кухне. Тут меня и нашли соседи. Как отходили — не помню. Помню, пил кипяток и что-то жевал, очевидно, кусочек хлеба, спрятанный Марусей «на всякий случай». И все же поздно вечером поковылял обратно, к Марусе. Едва дополз до своей кровати, просил меня не трогать и больше почти не вставал, только по крайней необходимости...

Весной 1942 года особенно стало заметно, как поредели ряды сотрудников Академии наук, оставшихся в Ленинграде. Погибло их почти три четверти, а многие из них были специалистами, единственными в своей области... (А.А. Попов и М.В. Степанова были эвакуированы из Ленинграда летом 1942 года. — Ред.)